

Ленин

20.04.96

Каким на самом деле был В. И. Ленин? Такой вопрос невольно возникает в наши взбаламученные дни, когда правда умело перемешана с ложью, а в средствах массовой информации немало сенсационных фальсификаций советской истории. Остается лишь пожалеть, что среди множества воспоминаний соратников, наводивших порой и «хрестоматийный глянец» на личность вождя, не осталось мемуаров самого Ильича, а многие его автобиографические подробности, взгляды, отношения к людям и событиям разбросаны в письмах, статьях, документах.

Английский писатель Алан Брайен взял на себя труд создать роман, который стал бы таким зеркалом души Ленина. На строго документальной основе, проштудировав разнобразные биографии вождя, его письма, все тома Полного собрания сочинений, после поездки по ленинским местам Брайен написал

вымышленный дневник Ленина, причем в объективности и непредвзятости писателя сомневаться не приходится. Роман выдержал два издания — в Лондоне в 1987 г. и Нью-Йорке в 1988 г., получил большой отклик в прессе. Немало было и критических высказываний, причем продиктованных все не политическими пристрастиями. Так, Эллендея Проффер писала в «Нью-Йорк таймс бук ревью», что Ленин обладал большой притягательной силой, поразительным даром убеждать других, но ничего этого в романе нет.

Хидер Кленси, наоборот, считает, что роман А. Брайена — это не просто вымышленный дневник человека, который поднял русскую революцию 1917 года. Это история самой революции. Критик отмечает: «Брайен досконально изучил эту политическую фигуру и настолько убедительно воплотил свое понима-

ние ее в живой человеческий характер, что временами забываешь, что перед тобой — вымысел...»

Ленин предстает со страниц романа человеком, который, несомненно, обладает даром предвидения. Еще в январе 1886 года, переживая смерть отца, Володя Ульянов столкнулся с латинским названием его страшной болезни. Уже тогда он задумался: а не передается ли она по наследству? И после первого серьезного удара, находясь в Горках, Ильич с беспощадной точностью высчитывает время своей смерти. Такая же прозорливость видна и в отношении к партийному аппарату, который уже начал словословить вождя, и к привилегиям, и ко многим будущим проблемам государственности. Причем все это Брайен рисует без всякого антикоммунизма.

В романе звучат две интонации: торжествующая и скорбная. Да, большевикам удалось создать

Советский Союз, но Ленин отчетливо видел зарождающиеся недостатки новой системы, свои собственные ошибки и зачастую с большой неохотой был вынужден отдавать распоряжения, которые ему самому претили.

Предлагая сегодня, в канун дня рождения Владимира Ильича, вниманию читателей фрагменты из романа, отметим еще одну особенность: автору удалось передать своеобразие ленинского мышления настолько, что порой не нарушен даже строй фразы Ильича, несмотря на двойной перевод документов с русского на английский и романа с английского на русский.

Редакция благодарит критика и переводчика Георгия Злобина, впервые переведшего роман и предложившего эту публикацию.

Василий ФАРТЫШЕВ.
Редактор отдела культуры.

**МОСКВА,
22 апреля 1920 г.**

День рождения. Мне пятьдесят лет. Всякий раз, когда я вижу свое изображение в печати или на плакате, — а наши партийные газетчики ухитряются каким-то образом, несмотря на мой запрет, меня фотографировать, — мне кажется, что я смотрю на карточку отца. Точнее, на карточку человека, который скорее похож на старшего брата отца! Никогда не денешься: я унаследовал семейное сходство и семейное сложение, отцовскую энергию, настойчивость и привычку все делать самому. Если мне передались также его болезни, что не исключено, то жить мне осталось четыре года.

Да, за последние четыре года мы добились поразительных результатов. Взять власть — само по себе огромное достижение. Вне партии почти никто не верил, что это возможно. Внутри нее многие считали это маловероятным. Потом удержать власть, несмотря на вооруженную интервенцию, несмотря на ненависть богачей и страх среднего класса. Трудящиеся же других стран лишь иногда поддерживали нас. И все же мы выстояли.

В день рождения позволительно немного заняться самоанализом.

Хотя у нас множество первоочередных, насущнейших, кровотокающих проблем (уцелеть — прежде всего), перед которыми спасовал бы Геракл, думаю, что ключ к выживанию надо искать в области нравственной. Боюсь, такое заявление нелегко воспримется партий *en masse*, не говоря уже о публике вообще, но те несколько сотен человек наверху, которые сейчас управляют страной, знают, что я имею в виду, когда настаиваю на необходимости быть верным законам Революции. Это не призыв к абстрактным добродетелям; а суровый вопрос практической политики. Если мы упустим из виду идеалы будущего, то не справимся с задачами настоящего.

Нас постоянно обвиняют в том, что мы руководствуемся доктриной «цель оправдывает средства». В определенном смысле так оно и есть. Что еще может оправдать средства, как не цель? С другой стороны, самый закоренелый пацифист-вегетарианец, созерцатель-квиелист, добровольно запершись в отшельнической раковине, пользуется теми или иными средствами для достижения своей цели. Всякое же средство потенциально несет вред другим. Никто — ни один король или папа, президент или генерал, философ или чиновник — не брезгал *in extremis* * самыми грязными и гнусными средствами, как то: лишение жизни и угроза лишения жизни, голод, нохищение, шантаж, заключение, пытки, террор, ложь и так далее и тому подобное. Для нас, марксистов, проблема состоит в том, чтобы средства не исказили цель. На протяжении всей истории угнетенные массы и их вожди гораздо чаще бывали жертвами обмана, принуждения, эксплуатации, клеветы, издевательств, насилия, резни и организованного классового террора, чем их правители и хозяева. В прихороненной книге истории у народа в активе накопилась такая значительная сумма мщения, которую никто и никогда не сумеет оплатить.

В реальной жизни искушение прибегнуть к недовольным средствам — чувство весьма сложное. Иногда у меня самого появляется сильное желание сыграть роль добренького самодержца. Последнее время я не раз принимал единолично вроде бы правильные решения. В такие минуты я всем своим существом чувствовал свою правоту, чувствовал, как она разливается по моим жилам, точно глоток перцовки. И тем не менее, и это следует помнить, я оказывался — не очень часто, но все же

достаточно часто — не прав. На сегодняшнем собрании, устроенном Московским комитетом партии в честь моего пятидесятилетия (я сопротивлялся мероприятию, но, видимо, меньше, чем нужно), Сталин сказал словно о каком-то сверхъестественном качестве: «Товарищ Ленин не боялся признать свои ошибки!» Мне хотелось дать ему под зад. Неужели мне не удастся внушить моим старым товарищам и соратникам, до чего отвратительно это извращенчество — угодничество, подхалимство, преклонение перед вождем, допустимое разве что в публичном доме. Впрочем, нет, лично я предпочел бы публичный дом...

А как ловко они готовят приманку! Почему бы, мол, не вы-

ретьянуть на свою сторону. Чем чаще мне это удается, тем лучше я исполняю свои обязанности. Особенно хорошо у меня получается со всякими межуемками, маловерами, скептиками, которых я убеждаю, что моя линия действия — единственно верная (моя, потому что верная, а не наоборот). Но я никогда не стану пополнять ряды своих сторонников путем затквания рта или угрозой исключения из партии.

Все это прекрасно, однако как быть с партийной дисциплиной? Труднейший вопрос — насколько допустима свободная дискуссия, совершенно необходимая до принятия решения, после того, как оно принято большинством? Разрешить высказывания каждо-

му члену партии, но запретить группам, фракциям? В любом случае строгость наказания за отступления от правила должна зависеть от конкретных условий времени и места. Что можно разрешить на боевом корабле, стоящем на рейде, недопустимо в спасательной шлюпке в открытом море. Что целесообразно на другой день после победы, может быть неразумно накануне решающей битвы. Единственное, чего я неизменно требую и надеюсь, все мы всегда будем требовать, — так это того, чтобы законы одинаково распространялись на всех без исключения, в том числе и на меня самого. Никакого служебно-должностного превосходства! Ни я, ни кто другой из руководства партии не должен иметь никаких преимуществ перед остальными, так что наша позиция — будь то при жизни или после смерти — может быть оспорена любым меньшинством и изменена любым большинством.

Но разве их уймешь? Теперь пойдут кричать на каждом углу: «Какая скромность! Какая самокритичность!» Как товарищи не понимают, что настоящий большевик брезгливо отворачивается от всякого пресмыкательства и подхалимажа в отношении кого бы то ни было, тем более в отношении себя. Может быть, в конечном итоге хвалебные эпитафии на могильных плитах Александра Македонского, Карла Великого, Цезаря, Наполеона, Кромвеля, Гарибальди и других великих деятелей прошлого — пыльная брешня скелет исторической правды. Я с ними не встречался и не знаю, насколько их личные качества сопоставимы с принципами, которые выработали для себя такие герои и бунтари-социалисты, как Герцен, Бакунин, Чернышевский, Маркс, Энгельс. Зато я знаю, кто и что есть я сам. Я не нуждаюсь в поклонении за то, что я делаю то, что нужно делать. Даже Бонч-Бруевич, мой секретарь, помощник, поверенный и приятель на протяжении двадцати лет ссылки, не в состоянии объяснить, что происходит.

«Зачем все это?» — спросил я его, показывая на сегодняшние газеты. — Я уже не могу заставить себя даже заголовки прочитать. Куда ни кинь — все об мне да обо мне! Должны были бы понять, что это совершенно немарксистское выпячивание одной личности просто-напросто вредно. А портреты на каждом углу? Какая цель всей этой шумихи? Разве идет избирательная кампания? Или за кулисами появился новый Наполеон, какой-нибудь генерал-заговорщик на белом танке, мечтающий захватить власть? Или, может быть, готовится почва для того, кто придет после меня? Для некоего тайного имама, который унаследует мою мантию, кресло и полномочия, а теперь и мое превращение в божество?»

Но Б.-Б. скорее сделает, что ему скажут, чем скажет, что он сделает. Принес он мне сегодня анкету, подготовленную Исполкомом Коминтерна для высших наших руководителей партийцев. Читаю: «Владеете ли каким-нибудь иностранным языком?» «None», — говорю я и добавляю: «Nichts! Nientel! Nix! Rien! Nada!» «Есть ли у вас иные соображения и замечания?» Да, есть. Хочу, чтобы товарищей, придумавших эти бумажки, вызвали ко мне для того, чтобы послушать, что я о них думаю. Я бы научил их с большей пользой употреблять свое время для углубления Революции и укрепления Советской власти. В Красной Армии пока еще имеются вакансии.

«Мне пятьдесят лет...»

Отрывок из романа А. Брайена «Ленин»
Страда - 1994 - 20 апр. - с. 7

пустить несколько разных изданий избранных произведений Ленина? Я был абсолютно против и тем не менее просмотрел отобранные работы и предлагаемые сокращения, даже перечитал иные куски. «Какие же мы были скудоумные! — заметил я. — И вообще кому нужны эти устаревшие споры?» Но они опасаются, что наши или заграничные меньшевики начнут публикацию своих собственных материалов, искажающих и фальсифицирующих факты прошлого. Напечатают, например, какое-нибудь вранье насчет того, что я говорил о Троцком или об этом мне накануне Революции, и используют его для раскола партии и подрыва нашего единства. Разве не лучше обнародовать подлинные документы, просмотренные мною и помещенные в исторический контекст, и вооружить тех, кто придет после нас, всем необходимым для распознавания шкурников, трусов, предателей? В конце концов я неохотно дал санкцию. Боюсь, напрасно.

Тут кроется еще одно искушение — стать человеком, который штампует приказы относительно того, что печатать, а что — нет. Я признаю за собой это право, когда дело касается моих собственных работ. Но мне приходится сопротивляться попыткам сделать из меня диктатора. Нажим идет со всех сторон...

Я не иду безоговорочного подчинения себе. Мне как марксисту известно, что ни одно по-настоящему серьезное решение нельзя принять без столкновения мнений. Чтобы настоять на своем, надо доказать ошибочность аргументов, выдвигаемых оппонентами. Мой авторитет никогда не был и не будет абсолютным. В противном случае я никогда не смог бы признаться в своих ошибках, ибо не знал бы, в чем они состоят.

Если им поддаться, то я стану как многие другие из нашей старой большевистской гвардии, которые никак не хотят понять, что новые вопросы требуют новых решений. Бесчисленные примеры из прошлого, высказывание исторических параллелей, бесконечное цитирование из священных писаний Маркса и Энгельса — все это сейчас никакая не годится. Каждый день и каждый час здесь, у себя в кабинете, и вне его я натапливаю на возвращение, несогласие, прямое сопротивление. Естественно, я наносю удар за ударом по оппонентам, раскалываю их, потом снова собираю и стараюсь пе-

ревать на свою сторону. Чем чаще мне это удается, тем лучше я исполняю свои обязанности. Особенно хорошо у меня получается со всякими межуемками, маловерами, скептиками, которых я убеждаю, что моя линия действия — единственно верная (моя, потому что верная, а не наоборот). Но я никогда не стану пополнять ряды своих сторонников путем затквания рта или угрозой исключения из партии.

24 апреля

Машина мифотворчества работает вовсю, словно бы по инерции, производя на свет всяческие побасенки о том, как совершалась Революция. Напрощается сравнение с апостолами, которые разносили вести о чудесах, сотворенных Иисусом Христом. Противно констатировать, что я оказываюсь в центре многих этих сказочек. Противна вообще вся эта шумиха вокруг моей персоны. Но всякий раз, когда я протестую, меня начинают уверять, будто массы хотят верить, что во главе государства стоит необыкновенный человек, герой, полубог. Говорят, что каждая такая легенда стоит недельного рациона хлеба или чего-нибудь в этом же роде.

Что за чушь! Почему простые граждане должны хотеть, чтобы им внушали, будто у меня густые, выходящие каштановые волосы, тогда как всякого, кто приближается ко мне, за версту ослепит мой блестящий лысина? Зачем их нужно уверять, будто в восемь утра, а то и в семь тридцать я уже «в присутствии», тогда как тысячи служащих в Кремле и поблизости прекрасно знают, что поднимаюсь я в десять и только к одиннадцати добираюсь до письменного стола? Разве не лучше сказать правду, а именно: работаю я до четырех, ровно в пять обедаю, потом — заседания Совнаркома, затягивающиеся до полнотчи. Иногда работаю и дома, бывает, до 5—6 утра... Будь моя воля,

* в чрезвычайных обстоятельствах (лат.).